

## 5

Между тем я состоял при отделе, называемом промышленно-экономическом, и Темкин то и дело возникал в проеме нашей двери, умоляя:

— Ребята! Нет ничего ни промышленного, ни экономического!

Мой заведующий Петр Сергеевич начинал перебирать разные пачки писем, мы складывали их в подборку, придумывали общие заголовки, которые и занимали вторую страницу, а мой Петя горячился в ответ на темкинские требования:

— Почти все заводы — закрытые! Какая экономика? Какие материалы? — И отпросился у Хлебникова в отпуск.

Я оказался в одиночестве. Самоходом отправился в строительно-монтажное управление, под волшебным обаянием газетных корочек добрался до самого начальника и попросил рекомендовать самого лучшего рабочего, да поразговорчивей, чтобы можно было записать его рассказ, почему он лучше других.

Начальник дал мне провожатого, через двадцать минут с башенного крана, вытирая руки о бока куртки, ко мне слез не очень-то и молодой, но энергичный мужчина, который тут же и нарасказал мне про свой опыт, да так, будто он делает это через день — да каждый

день. Конечно, я сфотографировал его на фоне крана. Строил он, кстати, жилой дом, может, тогда самый высокий в городе.

Уже через день большой рассказ этого крановщика стоял в номере, Темкин расхвалил его на летучке, а Хлебников подтвердил, что звонили откуда-то сверху — он ткнул мундштуком в небо — и тоже хвалили строителя. Какой он, мол, толковый работяга.

Мне Хлебников подмигнул при этом, Темников показал гонорарную разметку, где рукой главного, его синим карандашом, цифра в мою пользу увеличилась вдвое.

Но следующий мой выбор очутился печальным.

Полистав телефонный справочник, я отправился на протезный завод, предварительно позвонив директору. Им оказался рыхлый и какой-то безвольный человек, который, будто заранее оправдываясь, раза три повторил мне, что он тут недавно, понимает, что жалоб много, но пока не во всем разобрался, поэтому готов помогать мне как только может.

Я догадался попросить книгу жалоб или даже отдельные письма, и директор вынул из глубин стола пухлую папку. Я пришел в ужас. Невидимые мне люди — безногие, безрукие, все подряд больные, ругали завод, его протезы, низкое качество и, конечно, директора. Правда, не этого. Его предшественников. Назывались три или четыре фамилии.

Дальше мне дали сводки выполнения плана, я его штудировал в силу своего понимания, и несколько фамилий, дававших низкий процент, записал.

Рыхлый вызвался проводить меня в цех, который оказался простым баракком, уставленным примитивным оборудованием. Какие-то тиски, какие-то печи, какие-то формы.

К директору бросились чуть ли не все сразу, так что мне пришлось отойти в сторонку и слушать жалобы сбобку. Рабочие походили на рыночную толпу. Все говорили сразу — им не хватало того и сего, заказы не исполнены потому и посему, на зарплату прожить невозможно, и много еще такого же, разбираться в чем было невымыслимо человеку, зашедшему хотя бы и на полдня.

Директор вылетел со мной, совершенно потный и еще, кажется, рыхлее, похожий на студень, и повторял себе под нос:

— Надо бежать! Бежать!

Вечером я вымучил из себя заметку про народные жалобы, плохое оборудование, никудашные зарплаты, смену директоров, ну и назвал несколько злостных невыполнителей плана.

Через день заметку тиснули, а после обеда кто-то громко заговорил на лестнице, в редакцию ворвался старик и крикнул:

— Кто такой Кузнецов! Дайте мне Кузнецова!

Я встал, ничего не понимая, вышел навстречу, но меня опередил опытный Темкин.

— Вы кто будете? — спрашивал он твердым голосом. — По какому вопросу? Проходите ко мне!

Под мышкой лысый этот и худой старик держал что-то вытянутое, обтянутое холщовой тряпичей, может, даже, похожее на оружие или какую-то трубу.

Дверь в кабинет ответсека была всегда отворена, и там стоял большой стол, где чертились макеты полос. На этот стол, не переставая напористо выкрикивать несвязные фразы, старик тяжело бухнул свою ношу и развернул тряпицу.

К тому времени у Темкина собрались любопытные, старшие мои товарищи роптали по адресу шумного посетителя, но когда он снял тряпку, все опешили.

Это была нога. Самая настоящая человеческая нога, только гипсовая.

— Это только слепок! — кричал старик. — Его надо превратить в протез! Сделать пластмассовой! Снабдить подвижной системой! Смонтировать коленный сустав из дефицитного металла! А у нас ничего нет! И я не выполняю план, потому что это невозможно! Все липа! А ваш Кузнецов! Где он! Пусть попробует сделать ногу! Руку! Пусть хотя бы чего-то поймет!

Откуда-то из-за моей спины в комнату зашел Хлебников, представился старику, пожал ему руку, вежливо

попросил пройти к нему в кабинет. Старик согласился, а гипсовую ногу оставил на столе секретариата. Она так и пролежит тут до конца дня.

Темкин махнул, чтобы все расходились. Ушел в отдел и я. Тошнехонько мне стало. Я взялся руками за виски, повторял себе: «Дурак! Дурак! Дурак!»

Мелчком подумал, что, может, оказался под влиянием директора. Он ведь не может справиться, и я это только описал, не сильно вдаваясь в смысл. Я сгорал со стыда. А в редакции стояла тишина, никто не заглядывал ко мне, не выходил и я. Только Костя зашел раз пять, но теперь не утешая, а высказывая предположения.

— Может, надо было не спешить, походить туда дня три!

— Наверное, надо выяснить, кому они подчиняются, и потолковать с начальством?..

— А парторганизация там есть? Комсомол? Но профсоюз-то есть!..

Я пожимал плечами, и выходило, что Костя на сей раз не утешает, а напротив, разбирает мои ошибки.

Текущий номер подписали в печать, Темкин закрыл кабинет, так и оставив на столе гипсовую ногу, Костя отправился к тете Глаше, а я, сославшись на работу, остался у себя.

Зашел наш Репин — так мы с Костей уже обозвали про себя ретушера. Он, конечно, выскочил на крик, стоял в толпе и все прекрасно ведал. А сейчас сел на стул, закинул ногу на ногу.

— У меня там, — мотнул головой на окно, — сколько раз так было! Моешь, моешь, охрана пьянствует, а у тебя — пусто. Бывало, и жратву сокращали, дескать, вкальвай усерднее. А потом — раз! — и крупный камешек. Раз! Небольшой самородок! Сразу план за три месяца. Еще лучше — план всей бригады! Это нас и держало. Все гребли для всех!

Приоткрытая дверь кабинета скрипнула, и вошел Хлебников. Когда входит в комнату высокий человек, он толкает перед собой воздух, и этот воздух приносит свежесть. Так что сначала в комнату втолкнулся воздух, потом вошел самый здесь главный и устало бухнулся на диван.

— В общем, этот дедуля обиделся за его упоминание. И правильно, потому что он там лучший из всех. Я заехал в горком, по заметке состоится их постановление. Задницу намылят всем подряд — очередь ампутантов этих огромная, а материала для работы нет.

Он поглядел на ретушера и ткнул пальцем в меня: — Если бы он не наврал, так бы там все и догнивало. Так что...

— Вранье — движущая сила? — усмехнулся наш тихий Репин.

— Не вранье, а печатное слово! — мотнул головой Хлебников. — Это вроде ключа зажигания в машине!

Потом обернулся ко мне:

— А тебе это... Зарубка на память. Запомни этого старика!

Помню, шеф, помню.

Помню еще, что на мою практику пришлось одна непростая перемена. Газета «Сталинский Комсомольск» стала называться «Дальневосточный Комсомольск». Во время посиделок у молчаливого ретушера я спросил, как он отнесся к перемене.

Наученный думать, прежде чем говорить, он ответил, взяв вначале долгую паузу:

— Не он называл. Не он и переименовывает.

## 6

Однажды, и как-то между прочим, Костя сказал, что у него тут живет еще один родственник, двоюродный племянник тети Глаши по имени Клим.

Больших по размерам людей Дальний Восток, наверное, притягивал особенно, и Клим явился совершенно громадным, вроде того конструктора, однако моложе летами — этакая детина, опять же моряцкого происхождения. Он перебрался с Камчатки, где отслужил на флоте, потом порыбачил на траулере, заработал деньги, и вот приехал на тот самый незримый заводиче, откуда по ночам что-то таинственно выплывало в Амур.

Клим, вступив в Костину квартиру, как-то сразу заполнил ее своей массой, своим голосом, смехом, вольными жестами, да и был-то он к тому же не один, а с девушкой Елизаветой.

В ту пору не было принято, чтобы влюбленные при всех обнимались или, не дай бог, целовались, поэтому они просто сидели, тесно прижавшись друг к другу, а маленькая и хрупкая Лиза никак не могла положить Климу голову на плечо. Поэтому просто прижималась к нему, а он поднимал, смеясь, руку, и она под этим огромным крылом удобно умещалась, ответно попискивая, как птеник.

Тетя Глаша хлопотала на кухне, а Клим уже раза три предупредил, что они с Елизаветой пришли сюда неспроста, а чтобы сообщить важное известие. Костя похотывал, всю улыбалась и наша знаменитая кашеварка, над знаменитым угощением которой ржала вся редакция, вплоть до машинисток, — словом, Климово сообщение носилось в воздухе, подразумевая самую главную тайну: когда?

За столом все это и выяснилось, само собой вызвав разностороннее удовольствие, только Костя сделал рабочее уточнение: «Накануне приходит эшелон с добро-

вольцами, для них очищают целый квартал общежитий, а Климова комнатка как раз на краю этого поселения».

Никто этому замечанию не придал никакого значения, свадьба есть свадьба, но вся беда, что мы с Костей, точнее-то, именно Костя, уже являли собой некое общественно-политическое явление. Странно подумать, чего-то такое из себя представляли! Были сотрудниками газеты! А газета — что? Коллективный пропагандист, агитатор и организатор! В общем, кого-то мы из себя изображали. Ошибочно, конечно.

Я был на вокзале и оказался пристяжным в команде опытных работников, которую возглавлял Хлебников, ясное дело, из молодых — Костя и я с фотоаппаратом.

Мое дело — щелкать направо и налево, всем остальным спрашивать, брать интервью, в общем, вечером в день прихода эшелона с материка, как сказал бы Репин, мы, как на большой кухне, готовили блюдо завтрашнего дня — с картинками на первой и второй страницах, с текстами разного рода, и до того дошло, что Хлебников пошел диктовать свое предисловие к номеру прямо на линотип.

По винтовой железной лестнице я спустился в типографию, чтобы полюбопытствовать, как это делается, и уже увидел процесс, где автор не перед машинисткой выхаживает, а перед огромным, щелкающим агрегатом, где сразу каждое слово и отливается в металл.

Хлебников говорил громко, чтобы перекричать шум, почти кричал, а увидев меня, сделал большие глаза и замахал мне руками, чтобы я сматывался.

На том и закончилось. Утром вышел номер, можно сказать, праздничный, потому что описывал торжественную встречу новоселов и радость старожилов.

## 7

Таким образом, утро не предвещало ничего худого, мы с Костей обсуждали, что купить Климу и Елизавете, потом оказалось, лучше дать деньгами, и я передал Константину свою долю.

Ясное дело, утром и вечером нас кормила Костина тетушка, днем мы бегали в столовку, и я, может, впервой в студенческую эпоху, не считал — надо же! — денег. Два раза в месяц получал зарплату, а к ней прилагался гонорарий, часто в несколько крат зарплату превосходивший. Костя меня наставлял: открой сберкнижку, клади лишнее, зимой пригодится! Я соглашался, но это совершенно не было важным теперь! Несколько раз мои заметки перепечатывали в краевом центре и слали переводы. Одну фотографию — портрет красивого паренька — фэззушника — я послал на конкурс аж в самую «Комсомолку», ее напечатали, дали награду и послали гонорар, удививших всех моих коллег. Не знаю,

что привело к удаче: то ли красивый мальчик в фэзэушной форме и несколько строк про него, то ли далекий наш адрес, но радовался картинке в центральной газете не только я — я-то как-то затревожился, хорошо ли? — а вся редакция. Даже поглядывать на меня стали почтительнее некоторые. Особенно машинистки и уборщицы.

Про строителей-добровольцев я тоже сколотил заметку в край, продиктовал ее даже по телефону, и мы с Костей отправились на свадебное торжество.

Топали мы пехом, расстояние нас не пугало, день стоял жаркий, а вечер обещал тепло, тишину и благодать, к тому же с Амура легкими волнами нас достигала нежная прохлада.

Мы приблизились к кварталу двухэтажных барачков — и Костя, и Хлебников говорили, что с них когда-то и начинался город, — но тихое это место сегодня предлагало что-то неожиданное.

Пробежали мимо нас немолодые люди, промчались, повизгивая, девчонки, сразу штук пятнадцать, что ли. Навстречу хромала пожилая женщина.

— Ой, скорее, милые, скорее! — проговорила она. — Что там деется! Мамаево побоище!

Мы прибавили шаг, даже перешли на перебежки.

И тут открылось довольно большое пространство между двух рядов серых барачков. Расстояние между домами составляло метров семьдесят, но сами-то эти бараки тянулись далеко.

И вот между ними дрались люди. Некоторые постарше нас, но и наших ровесников хватало. Бились как в историческом кино — стенка на стенку, и понять, кто на кого, было немислимо. Одни парни лупили других, а женщины их же возраста прижимались к барачкам и болели за своих:

— Лупи их, лупи!

И вот тут в Косте, да и во мне — но в меньшей степени — проснулись представители прогрессивной ответственности.

— Да что же такое творится! — воскликнул негромко Костя. — Их надо остановить! Они перебьют друг друга!

Он повернулся ко мне не то чтобы всем лицом, всей фигурой, а всей душой:

— Надо позвонить в милицию! А телефон — там, — он указал на подъезд, у которого крутилась самая что ни на есть мясорубка.

— Прорвемся? — спросил он.

— Прорвемся! — ответил я, вспоминая скромный опыт комсомольского оперотряда.

Не вступив в бой и не схватив ни одного случайного удара, мы ворвались в подъезд общаги. По бокам там стояли два дивана, а на столике в углу чернел телефон.

Костя махнул редакционным удостоверением, подскочил к телефону, набрал милицию. Крикнул:

— Это Немухин из газеты! Массовая драка у общежития добровольцев! Высылайте наряды!

Я запомнил это, а потом еще думал про эту оговорку: Костя сказал не «наряд» — одному наряду милиции делать здесь было нечего, что и произошло — а «наряды». А это логично принять за одежду. «Высылайте наряды!»

Но такое могло лишь мелькнуть, как осколок уходящего света! Меня ударили сзади, и я оказался на диване. Костю швырнули на другой. И молча — молча! — стали нас лупить. Хорошо, что только руками.

Но и этого доставало!

В глазах, да и во всей голове сверкали отчего-то сильные молнии, надо было укрывать лицо, но тогда удары приходились в живот, в плечи, в бока. Можно было бы наклониться, закрыть руками лицо, тогда открывались уши, а это тоже слабое место человека.

Меня били, а я даже не мог приподняться, не мог вскочить, чтобы побежать, например, чтобы как-то воспротивиться. Нас били беспощадно, безответно и за что? За звонок в милицию?

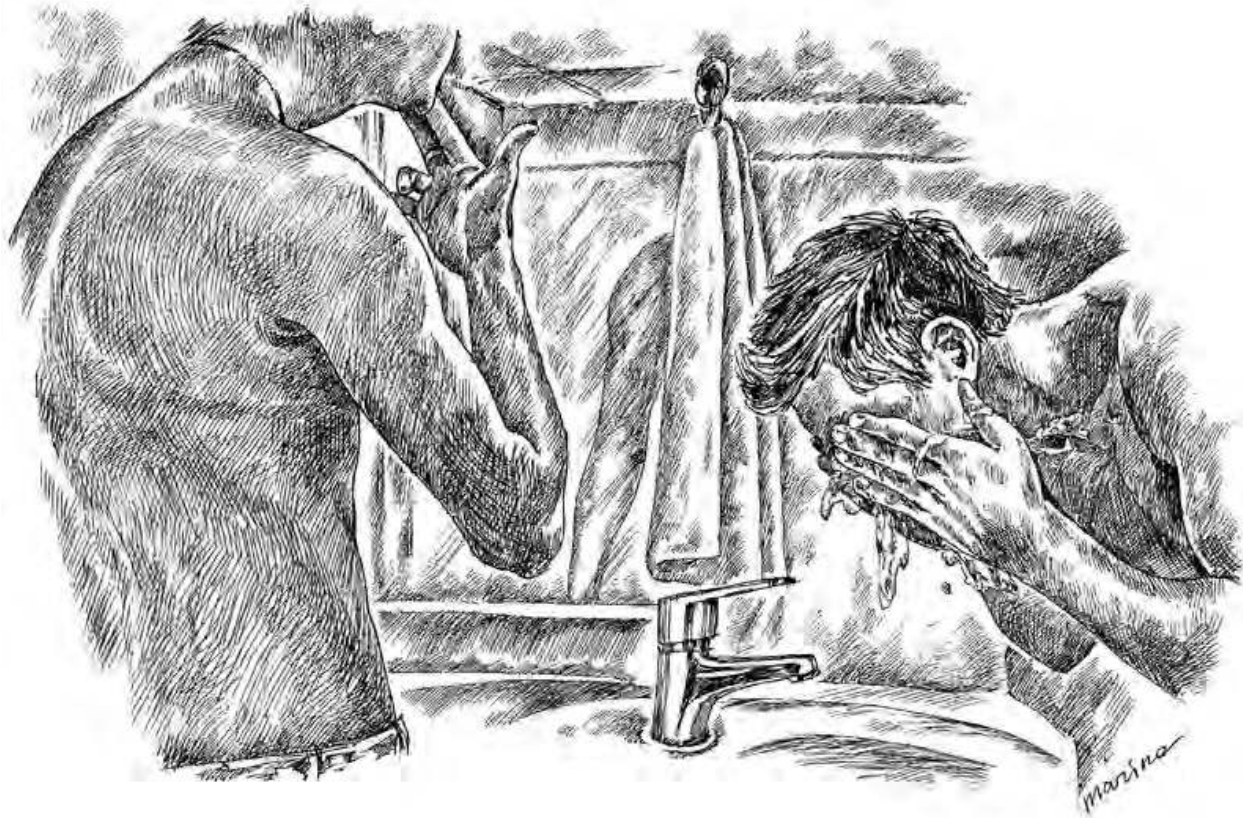
Наконец кто-то отчаянно заорал. И я узнал Костин голос. Костя кричал так, как кричат, когда убивают. И молотобойцы на секунду остановились.

Она оказалась спасительной. Мы разом вскочили и кинулись к дверям. Окровавленные лица наши, похоже, что-то означали собой, и драка перед подъездом вдруг приостановилась, а толпа чуточку расступилась. В этот человеческий коридор кинулись мы, добежали до выхода из него и ринулись к дальнему барачку, где нас ждал Клим.

Мы ворвались в комнату, где за столом уже сидели жених в пиджаке с галстуком и невеста с чем-то беленьким на голове. И вся свадьба вскочила. Маленькая Лизка подпрыгнула и повисла на Климе, удерживая его. Но он ласково освободился от объятий, скинул пиджак и возглавил ударный батальон. Ребята, с которыми мы крепко сойдемся в течение следующего часа, собрались на Климову свадьбу все заводские, отслужившие армию, и никто из них не усомнился в праведности атаки.

Я ее не видел. Но Елизавета и весь женский состав в один голос подтвердили, что Клим во главе своей бригады начисто уложили всех, кто был на дорожке у общаги, ворвались в подъезд, перевернули диваны, оставив в целости лишь невинный телефон. А когда выскочили обратно и увидели побитых мильтонов в порванных кителях — стали биться дальше, пока не подоспело государственное подкрепление.

Наряды. Во множественном числе.



## 8

Пока совершался акт мщения, мы с Костей, смеяня друг друга, держали под краном то лицо, то всю голову, то руки, которым тоже досталось. Топтались мы на кухоньке полуголые, а разные гости женского рода, которых я и видел-то первый раз, заходили по очереди, чтобы осмотреть наши голые торсы и установить, что в целом мы еще пока живы, а больница не требуется.

Но голова трещала! Зубы шатались, а у Кости один зуб шатался даже очень основательно, угрожая выпасть. Кое-как нас переодели в рубахи Климова размера, они висели на нас вроде халатов, а потом вернулся и разгоряченный жених со свитой друзей.

Они кричали, возбужденно перебивали друг друга, но едва Клим умылся и повязал галстук, все радостно уселись за стол.

— Добровольцы добровольцами, — подвел он итог схватки, — но и наши хороши! Устроили, видишь ли, гостеприимную встречу!

Стол, раскинувшийся перед нами, был народным от начала до конца, и жратвы обнаруживалось в избытке. Но нам есть не хотелось, да и не моглось — зубы-то шатались. Какая-то добрая тетенька налила граненый ста-

канчик чего-то мутноватого прямо из эмалированного чайника, и когда я устало спросил, что это, она ответила, мол, вино. Мы с Костей залили это в себя. Заметно полегчало. Пришлось добавить.

— Ну что, — спросила дружески все та же тетенька, — понравилось наше винцо? Так это спирт, чаем подкрашенный!

Первые полустаканчики прокатились как по маслу. И, надо же, действительно стало легче. Напиток доброджелательно успокаивал, утишал боль, заглаживал драку, и мы стали отходить, оттаивать, полегоньку закусывать.

А Клим, успевая отвечать на яростное «Горько!», поспевал еще и хвалить нас с Костей, удивлялся, как это мы вошли прямо в глотку зверя, нашли слабое место в этой глотке и — позвонили милиции.

— А то, что били их — варвары! Причем скорей всего наши братьовья! Охраняли ведь телефон-то, охраняли! Выходит, битва запланированная! Решили сразу проучить! Ну, гады!

Под эти восторги, когда на нас посматривали, о нас не только говорили, но и шептались, жизнь быстро улучшалась, боль пряталась, а дурацкое, в общем, наше поведение начинало окукливаться в миф, в легенду, пусть даже для узкого круга, обещая превратиться

из куколки в прекрасную зачем-то бабочку странной известности.

Мы с Костей пересели рядышком, чтобы было сподручней обниматься — два героя! — о чем-то болтали со всеми подряд, говорили Климу с Лизаветой длинные и несвязные заздравные речи с пожеланиями и, ясное дело, благодарностями. Подходили — и не раз — к зеркалам, впадали в ужас от синяков и ссадин, но со всех сторон встречали только сочувственные, благодарные, даже почтительные взгляды.

Особенно восхищенно глядела именно на меня младшая сестренка Елизаветы. Все застолье как-то небрежно, даже почти неуважительно поглядывало на нее, и когда я попробовал выяснить ее данные, все та же добрая тетка ответила, махнув рукой:

— А-а, Маринка! Ласковая дурочка! Маляром-штукатуром работает, из фэззушниц!

В скором времени я оказался пьян. Меня отвели в квартиру напротив, где на разные рулады уже храпел Костя. Чьи-то тела громоздились на полу, на ковриках и кинутых пальтецах. Битва, переходящая в праздник, закончилась грудой храпящих тел.

Где-то, уже под утро, я вышел в трусах на общественную лестницу, заскочил кое-куда и облегчил свое существование. Поднявшись, увидел, что дверь в соседнюю комнату приотворена. Я расширил щель и увидел, что на раскладушке лежит, распахнувшись, Маринка. Сама комнатка походила на коридорчик, да потом и оказалось, что это кухня, а не жилье.

Вот когда вспыхивают малозначимые слова! «Ласковая дурочка», вспомнил я, вошел в комнатку и притворил дверь. Я прилег к Маринке, и она воскликнула перепуганно:

— Кто это?

— Я, — только и удалось мне произнести.

Удивительно, она вздохнула и больше не проговорила ни слова.

Нет, не мыслящий, не стремящийся к чему-то значительному, не знающий высокие стихи, не ведающий, хотя бы приблизительно, что такое экзистенциализм, а мокрый, жалкий, отчаянный, но радостно добравшийся до запретного плода щенок обретался в чужой комнатенке, на чужой раскладушке, наслаждаясь чем-то ему не принадлежащим. «Ласковая дурочка» не явила никакой ласки, да и почему она дурочка, я не понимал.

Потом я вышел на улицу все в тех же трусах и майке. Чьи-то огромного размера тапки шлепали на ногах. Я тупо двинулся к месту вчерашнего побоища. Ничего не напоминало о нем. Правда, в рассвете, наступающем все настойчивей, промелькнула фигура, другая. Скребла метла о сухой асфальт.

Я постоял, не чувствуя, не понимая себя, не зная, что со мной произошло в последнюю половину суток.

Потом повернул, добрался до места, где по-прежнему стояли духота и храп, свалился в свое логово и проспал до обеда следующего дня. Хорошо, что это было воскресенье.

## ПОВЕСТЬ СЕДЬМАЯ

### СТАРШЕКУРСНИКИ

#### 1

Прощаясь со мной, Хлебников сказал то, о чем я не думал.

— Нет, ты к нам не вернешься!

Костя Немухин, бывший рядом, вскинулся, готовый возражать, но подумав, вопросительно оборотился ко мне.

— Мне очень нравится, — пробормотал я, сбитый таким ходом разговора, — но я еще ничего не знаю.

— Это правильно, — заметил суровый первостроитель, — что не знаешь. Тебе еще рано что-то знать про себя...

Ни обниматься, ни многословить в ту пору не было принято, вечером я сел в поезд, а наутро мы встретились с Минибаем в Хабаровске, откуда, тоже к вечеру, двинулись в сторону альма-матер. Теперь мы ехали почти как буржуи — в плацкартном вагоне, две нижние полки, на которые хоть и присаживались за пять-то дней пути верхние пассажиры, но всякий раз спросясь и оказывая нам ярко выраженное почтение.

Мы оба досыта напечатались в своих газетах, и первое время взаимно изучали творчество друг друга, обсуждая, прибавляя подробности и досказывая недописанное. И он, и я состояли на окладах, кроме гонораров-то, и это подчеркивало отношение к нам редакций, куда мы явились на практику, — вполне доброжелательное, даже симпатическое, и карманы наши — мой, пришитый еще бабушкой, с пуговкой для пущей сохранности кровно нажитого, — слегка топорщились, с одной стороны, намекая на пробную трудоспособность, с другой — гарантируя слегка уверенное будущее.

Впереди лежали два курса, в которые было бы глупо сорваться на каком-нибудь истмате. Или вообще сломаться в иной ерунде. Наше будущее уже вырисовывалось, волнуя и обнадеживая.

Ясное дело, друг мой со всем вниманием выслушал историю всеобщей драки новоселов и старожилов, или

наоборот, — все подробности в самых мелких деталях, участь, настигшую Костю и меня как представителей общественного мнения, на которых драчуны обернули особую ярость.

Наш Хлебников раскрутил после драки целую бучу, поднял на расследование власти, милицию, провел даже круглый стол в редакции — что, мол, случилось, какая такая причина для массового побоища, и возможно ли повторение такого или продолжение? Ведь лагеря для эзков разного свойства продолжают освобождать.

Я сидел в уголке при этом круглом столе, понимаю, по малкивал, но видел, что люди из власти и милиции искренне недоумевают, хотя среди новоселов и старожилов милиция обнаружила людей, отсидевших сроки.

Вывод был не для печати: участников массовой драки столько, что всех не посадишь. К тому же серьезных жертв не обнаружено — только синяки да ссадины, как у нас с Костей. Ясное дело, за побоищем стоял еще и политический фон: комсомольцы-добровольцы, едущие помогать, вдруг передрались со старожилами, строившими Комсомольск годами. Какое-то несовпадение!

Любопытно, что в уголке за редакторской спиной притулился наш ретушер Игорь Николаевич. Я еще, грешным делом, подумал — на него это не похоже, в его узкой комнате смиренно играла классическая музыка, утешая душу, а тут самая что ни на есть современная разборка. Но ретушер и вынес главный приговор всему произошедшему. Как-то негромко, и вроде самому себе под нос, он вдруг проговорил в тишине, наставшей после долгих дебатов.

— Просто отпустило!

Все эти серьезные люди молчали, теперь, похоже, раздумывая о глубинных, может быть, течениях вод, и Хлебников спросил:

— Ты, Игорь, подразумеваешь пушкинское? Про русский бунт, бессмысленный и беспощадный?

Ретушер шелохнулся и ответил:

— Скорее, это похоже на медведя, который укладывается на лежку... Ворочается, ворочается! Может и придавить!

Костя после обсуждения пожимал плечами, помыкивал, ну и я, признаться, не достиг даже близко философической мудрости Игоря Николаевича. Да и ведь обоим нам досталось в том побоище, а это не очень располагает к стратегическим рассуждениям.

Но вот мы ехали с Дальнего Востока, и я физически отодвигался от жестокой драки, которая уже допускала и ее мифологизацию, и терпеливое возвращение к бессмысленности и бесцельности драки стенка на стенку, вообще-то исторической по своей форме — так дрались молодые мужики даже с двух краев од-

ной деревни, о чем мы, почему-то, хорошо знали, и я, неторопливо обсуждая с Минибаем одну из страничек собственной биографии, все больше и больше соглашался с ретушером, который ведь и за политику пострадал, и золото мыл, и в драках, поди-ка, по молодости участвовал. А может, этот многострадальный ретушер, нахлебавшись вдосталь, просто ретушировал целую эпоху?

Получалось, что беспричинность мордобоя, ненависти даже, лютоści у русских проходит и отлетает так же бессознательно и легко, как приступы доброты и самопожертвования, думал я своим незрелым умом, что и поспешил выразить словами.

Минибай не согласился:

— Это отрывка! От какого-то страшного обжорства! Это отместка за великую обиду! И, может, отместка самим себе!

## 2

Трижды в день — поутру, в обед и вечером, как вполне состоятельные граждане, — мы ходили в вагон-ресторан, официантки которого дружелюбно нам улыбались, назубок выучили наш обеденный спрос — оливье, солянка и бифштекс с яйцом, — что еще долгие и долгие годы будет нашей незабвенной триадой, даже во взрослые лета, и к ним — в обед-то! — добавлялись славные сто граммов белокурой да бутылочка «Жигулевского».

Все это позволяло обедать долго, неспешно, обсуждая окружающую действительность и рассуждая на темы нам неподвластные, как это часто случается с русским подростом.

Впрочем, политику мы обходили, да и что нам за дело до Молотова, Маленкова и «примкнувшего к ним» бывшего комсомольского секретаря Шипилова. Там, в высотах, совершенно недоступных, что-то шуршало, разоблачалось и отваливалось, и в этих событиях ближе иного казались предметы, о которых прежде судить не приходилось.

Например, вдруг оказалось, что в державных облаках царствует разврат. Вдруг выяснилось, что создатель «Биографии И. В. Сталина» по фамилии Александров, академик и министр культуры целой страны, устроил бардачок с самыми чудесными красотками театра и кино, в которых мы были влюблены. Грязь пролилась, министра сняли и отправили из столицы с глаз долой. А к нам, в столицу Урала, для перевоспитания, наверное, отправили его соратника по разврату члена-корреспондента Академии всех наук Кружкова. И в качестве — кто бы мог такое выдумать? — главного редактора славной уральской

газеты, а по совместительству профессора марксизма-ленинизма. И где? На нашем собственном факультете.

Подвыпив и влюбленно вглядываясь в пейзажи чудесной страны, крутящиеся за окном, точно гигантская граммофонная пластинка, мы с Минибаем на все лады спрягали научные достоинства сосланца из московских далей, вышучивая и его членство, а также корреспондентство, раз он уж стал редактором и обучал марксизму газетчиков.

В этом легком полуподпитии я болтнул милой официантке на ее вопрос, кто мы такие и куда отправляемся, что перед ней не кто иные, а золотоискатели! История ретушера не оставляла меня в покое. Минибай тут же меня оборвал, чуточку приобидев:

— Да он шутит! Мы — бедные студенты! С практики едем!

Официантка поморгала, отошла, я заметил:

— Разве вредно — малость приврать?

— Дорога дальняя, — ответил друг, — я тут интервью брал! С начальником железнодорожных милиционеров! Хоть за детектив садись, что на дорогах творится! А ты! Золотоискатель! Задницу прочистят!

— Как это? — не понял я.

— Знаешь, как золото с севера вывозят? Правда, бабы. У мужиков хуже получается.

Я не знал.

— В презервативах! Которые сам знаешь куда засовывают!

Я ахнул. Что-то ретушер мне про такое не рассказывал. А Минибай знал и не врал, похоже, да и зачем ему врать, если еще и знает всякие подробности.

— Этим заняты воры в законе, — пояснил он. — И какие-то банды с юга! Мы, братец, и представить не можем, что в той, подпольной, жизни!

Но это все были мысленные, так сказать, утверждения. Лишние знания, которых, в общем, оказывалось чересчур много — так много, что они складывались в другую, параллельную, жизнь. Вот мы сидим в ресторане, а наши чемоданы запросто могут обшмонать расторопные ребята, да так, что никто ничего и не заметит. Даже из вполне доброжелательных соседей. Поэтому девиз — все свое ношу с собой — внушенный еще моей бабушкой, пришившей внутренний карман, был разумной народной мудростью. У Минибая имелся похожий. А про золотоискательство и шутить оказывалось опасным в те времена, только начинавшие освобождаться от страхов.

Еще с вокзала в Хабаровске мы, узнав, когда проезжаем Красноярск, дали телеграмму Джурке. А и вспомнили о депеше-то только при подъезде.

Но на вокзале у проходящего поезда толкалось человек пять-шесть, и Джурки не было. Мы вышли на перрон.

И тут — о боже! — я увидел Джуркину мать! Я же видел ее, когда она приезжала, а Минибай — нет. И вот она шла ко мне, не очень молодая, обыкновенная, круглолицая и доброжелательно улыбающаяся. Он неожиданности я растерялся, Минибай толкался рядом, совершенно не понимая, что происходит. А я начисто забыл, как ее зовут. Но она пришла на выручку.

— Здравствуйте, ребятки! Я вас узнала! Джурик улетел самолетом, и я, получив телеграмму, решила вас встретить.

И протянула нам две тряпичные сумочки.

— Там еда, ничего особенного! Покушайте в дороге!

Больше говорить было не о чем. Джурка ведь сначала остался на старой частной квартире, когда я съехал в общежитие, и наши отношения, естественно, изменились. Теперь на троллейбусном буфере мы висели вместе с Минибаем. После Джуркиного покаяния вроде все утихло, его окучивала профессорская дочка Алена Грачева, а он и вовсе переехал на другую квартиру и жил в комнате с Толей Пудолем. Поближе, видать, к газетным делам. Все эти передвижения создавали новую географию его жизни, несколько отличную от нашей, и мы не то чтобы отделились, но...

После лекций мы сбивались в привычных аудиториях, ели у тети Дуси и снова оставались с книгами на угретых местах, а местные, здешние, городские удалялись восвояси. И как-то незаметно к ним примкнул Джурка.

Такая вот складывалась рекогносцировка перед прощальной фразой Джуркиной матери. Поезд тихо тронулся, мы стояли в тамбуре, и она сказала нам совсем негромко:

— А Джурик с Аленой решили расписаться! Скоро увидимся!

Вот это был удар по нашим наивным ушам!

Ведь даже и переспросить-то нельзя — поезд набирает ход, а женщина, сообщившая новость, остается за пределами дверного проема.

Последнее, что, наверное, увидела она, были наши округлившиеся глаза.

### 3

Та осень была благоуханна и светла!

Время от времени изменяя тете Дусе, мы ходили полопать в Дом крестьянина, где действовала столовая же, но чуть попримичнее, чем студенческое спасалище, — там, например, подавали «чай парами», оказалось, не стаканами, а целыми чайничками, по-купечески. После обеда мы переходили трамвай-



ные пути прямо напротив столовой и забредали в аллее знаменитого дендрария.

Вот там, на широченных скамейках, похожих на вокзальные, нас тихо, без всякого предупреждения, постигала хоть и краткая, но благодать. Мы съездили в незнакомые прежде края, приспособивались там и даже оказывались чуть-чуть нужны, вернувшись, защитили практику на пятерки, и про нас покатились хлипенькая, но положительная молва: эти парни не пропадут.

В дендрарии мы ни слова, пожалуй, не проговорили о будущем, но, похоже, оно развиднелось, будто тропка освободилась от тумана, и стало ясней, куда ступать дальше.

Минибай свой путь видел очевидней, чем я, и ни о чем другом, кроме Хабаровска, не желал слышать. Он благоразумно не утратит связь с газетой, где практиковался, съездит туда еще раз, а потом уедет навсегда. Я же обладал страховкой от самого Леонида Демидовича, которого у меня дома из молодежки перевели в главную газету.

Чуть позже, на октябрьские, я сгоняю к родителям, отдам заработанные деньги, и за пять дней мне сошьют первый в жизни костюм — тогда же костюмы в магазинах не продавались! Был этот мой первенец хорош, до полного восторга окружающих и моего собственного, — коричневым, в тонкую светловатую полоску — да еще и раскроил-то его мой собственный дедушка, который хоть и слыл скорняком, шил меховые шубы для армии, работал на шубно-овчинном комбинате, но оказался и опытным кройщиком широких умений: самолично измерил меня сантиметром, раскроил материю, а потом примеривал и строжил, осаживая хоть и немолодых, но все же, видать, не таких опытных, как сам, женщин из швейной мастерской.

Этот-то костюмчик я и обновил, явившись к Леониду Демидовичу, который тут же потребовал отчета, а услышав, что я прошел практику в промышленном отделе, да еще и в Комсомольске-на-Амуре, прямо-таки заволновался:

— Ну, ты помнишь наш уговор?

Я, конечно, помнил.

— Смотри! — ходил он передо мной. — Пришлем вызов!

— Шаг вправо, шаг влево! — пошутил я.

Он остановился, погрозил пальцем:

— Ты же у нас вырос, молодой человек!

Странное дело, я не чувствовал себя молодым человеком. Пацан, конечно! Студяга — в самый раз! Даже молокосос — приемлемо, если употребить это слово дружески. Но — молодой человек?

Одним словом, редактор молодежной газеты, благословлявший меня учиться, теперь разговаривал со

мною как со взрослым во взрослой редакции, а я, получалось, оказывался застрахованным, и мне не требовалось искать работу в иных краях. Хотя что-то свербило в душе. Хотелось попробовать неведанного.

Тем временем Джурка сыграл свадьбу с Алёной Грачевой. Русоволосая, с чуть припухшими губами и сияющими глазами, Алёна в образе невесты была хороша и радостна, а Скок чего-то стеснялся, оказался угловат и немногословен. Свадьбу играли в профессорской квартире, так что студентов позвали немного, самых близких, в число коих вошли и мы с Минибаем.

— Ну все! — сказал он при подходе к дому, где теперь должен был обитать Джурка. — Вот он и распределится!

На свадьбе мы, конечно, увидели Джуркину мать и его отца-геолога, теперь уже в полной близости и удивительности. С их стороны, конечно. Про нашу сторону говорить пока не приходилось. Мы просто плыли по течению, и вот одного из нас вытащили багром за шиворот и поставили на берег: живи, как взрослый. Но это ведь еще вопрос, что лучше: плыть по течению, если, конечно, не тонешь, или стоять на берегу, не зная куда идти.

В общем, мы гульнули, выразили пожелания, поплыли дальше, и тут началось. То на старших курсах — а старшим был только пятый, и это хотя бы понятно, — то на младших стали фейерверками взрываться свадьбы.

Еще один взрыв послышался совсем поблизости. На этаж ниже в нашем общежитии проживала Муза Воробьева с нашего курса. Была она не фигуристка, тощевата, блондиниста, светлоглаза и длинноноса. Правда, еще говорлива, активна, настойчива до настырности. Ничего не пропускала, чтобы громко не обсудить. Ну, бывают такие активные натуры. Сочинительством и публикациями Муза не блистала, зато не пропускала ни одного высказывания, чтобы не выразить замечания. Потом из нее выйдет замечательный редактор. Хотя, как известно, всякая замечательность относительна.

Особенно часто Муза повторяла гуманистическую мысль, что каждый человек — хозяин своей судьбы. При этом взглядом она обладала беспокойным. Быстро, но внимательно оглядывала людей, будто кого-то отыскивая, отбирая, сортируя. На всех близких ей сокурсников она взглядывала мимолетно, без всякого интереса, и даже без расспросов было ясно, что она не может иметь к нам никакого интереса. Как, впрочем, и мы к ней.

И вдруг кто-то сообщает, что Муза выходит замуж, присмотрев парня с физмата, свадьба будет прямо в общежитской комнате, где она проживает вместе с еще пятью девчонками, и теперь все они, сбросившись, строгают тазик винегрета — по причине бедности как невесты, так и жениха.

Комната хоть и рассчитанная на шесть железных коек, вроде нашей, вместить много гостей не могла, поэтому Муза поставила дело так: группа из трех-четырёх человек заходила, чокалась гранеными стаканами, в которых продукт чуть взблескивал на самом дне, желала счастья и тотчас выходила, закусив винегретом. Жених наивно, но радостно взирал на входящих, глаза его невинно кругтели, и он потихоньку поднапивался. Но Муза управляла всем, и процесс шел ходко.

Подруги по комнате распределились на первую ночь кто как, предоставив пространство для радости молодоженов, но после второй ночи общага наполнилась слухом, распространившимся самым стремительным образом. Муза и ее суженый к односпальной железной койке приторочили нечто вроде полога из сдвоенной простыни, купленной на рынке и сшитой воедино. Большой размером муж Музы приходил с учебы, весь вечер проводил в беседах с Музой в женской комнате, при знакомых, но ведь посторонних же девицах, а к ночи залезал под полог, снимал там рубаху, штаны, и Муза вешала все это в общий шкаф вместе с платьями своих подруг.

Далее они укладывались в свое гнездышко, укрытое от нескромных взоров, и утихали.

В первую коллективную ночь девчонки, не посмевшие возразить, кое-как задремали, уговорив, наверное, себя, что ничего страшного не случится, ездят же люди, раздеваясь, в купейных вагонах, но к утру очнулись от дикого скрежета и стопа. Муза стенала, как гиена, впрочем, голосов гиен мы в ту пору еще не слыхивали, а сетка кровати скрежетала, испытывая самое тяжелое давление на всю свою железную жизнь.

Ходили слухи, что все девчонки выскочили из комнаты в ночных рубахах, потом где-то прикорнули, а утром пошли в атаку на Музу. Не тут-то было! На все претензии она укоряла подруг в безнравственности и эгоизме: у них бедная, истинно студенческая семья, и денег, чтобы снять где-то комнату, даже быть не может. А потом покрыла все сомнения последним аргументом: и у Музы, и у ее мужа погибли на войне отцы, так что общежитие им полагается по закону! Против такого аргумента переть было невозможно. И выхода из положения никто не знал.

Дело кончилось умиротворением, довольно, кстати, простецким. Сперва девчонки договорились с Музой, что они с мужем будут делать свои дела до восьми вечера, пока не закрывалась читалка. А ночью станут вести себя спокойно. Молодой муж укротил свою плоть, но возвращаться по старому месту жительства не желал. Очень скоро Муза забеременела. Похоже, она достигла искомого и тут же отлучила муженька от бранных подвигов. Ему пришлось возвратиться на свое

место, пока она не родила. А из роддома их устроили в какой-то комнате по линии профсоюзова. Собственным разумом Муза, считающая, что судьба человека в его собственных руках, вытащила себя, дитя и мужа из реки, по течению которой мы продолжали плыть.

Как и Джурка, выбралась на берег, во взрослую жизнь.

#### 4

Той же осенью нам довелось взглядеться в лицо развратной власти, но так ничего и не разглядеть.

Какую-то обзорную лекцию по развитию марксистской мысли нам собирался прочесть тот самый Кружков, друг автора биографии Сталина, а в те времена профессор отделения журналистики и главный редактор, повторюсь, самой важной уральской газеты. Своей потаенной славой он, похоже, был овеян со всех сторон, если даже малознакомые исторички и филологички ужали нас в аудитории, назначенной для его речи. И глаза у них горели. Слухи о лекции недонаказанного распутника разошлись широкими кругами, как будто кто-то бросал в воду не камушки, а булыжники.

В конце концов на кафедру взшел человек с лицом, похожим на каменную маску — грубо отесанным и мясистым. Пока он говорил, ничто не дрогнуло в нем, разве что взгляд изредка отрывался от бумаг, спрятанных бордюром кафедры, устремлялся вперед, но не останавливался при этом ни на одном слушателе. Будь пустой эта аудитория, он и тогда исполнил бы это все тем же безразличным к словам и их содержанию баритонном. Ровное, равнодушное, безразличное произношение обезличенного текста, может, даже и написанного кем-то другим.

И при этом он же был редактором огромной газеты! Мне пришло в голову идиотское сравнение: а Хлебников, например, смог бы оказаться на этой кафедре и ворочать языком камни официальных слов? Да пусть даже и самые размарксистские — но вот так равномерно, пустоголосо, незмоционально? Ведь такое не позволила бы ему просто его судьба! Там и жар, и пыл, и ругань! Да все, кроме пустынной геометрической плоскости.

Прозвенел звонок, и лектор торопливо исчез, едва ли не сбежал, но ему предстоял еще один академический час, и аудитория слабо загудела. Джурка с Аленой сидели впереди и, оборачиваясь к нам, улыбались, пожимали плечами. Но громче всех вела себя Муза Воробьева. Она зачем-то волновалась шумней всех: крутилась, качала головой, что-то, почти неслышно, шептала.

Лектор вернулся и вынужден был пару раз прокашляться, таким образом призывая зал к вниманию. Через полчаса, резко оборвав, оказалось, закончив, сухо спросил:

— Вопросы?

Вскинулась Алена, Джуркина жена и дочка профессора. Зачем только это?

— А вы лично имели отношение к биографии товарища Сталина?

Аудитория притихла.

— К биографии товарища Сталина имел и имеет отношение Александров Георгий Федорович, — все тем же равнодушным тоном произнес лектор. И добавил: — Это действующий и признанный труд, он имеется во всех библиотеках.

— А с Александровым у вас были отношения? — выкрикнул чей-то резкий мальчишечий возглас, и я узнал Вовку Потникова.

Все снова притихли, сразу уразумев, какой запретный смысл вопрошающий вложил в слово «отношения». Но каменная маска оказалась непробиваема.

— Александров, — ответил он равнодушно, — действительный член Академии наук, а я член-корреспондент. Таким образом, мы работаем в одной Академии.

Он подчеркнул это слово — «работаем», — и Алена потом еще долго разъясняла нам, что все эти академик избируются пожизненно, и что бы с ними ни случилось, откуда бы их ни выгоняли, даже из министров, их академические звания неприкасаемы.

Но тогда взорвалась Муза Воробьева. Она вскочила и громогласно воскликнула:

— А как марксизм-ленинизм относится к экзистенциализму? Не есть ли это дружественная марксизму идея? Ведь Жан-Поль Сартр утверждает, что человек есть лишь то, что он сам из себя делает. Человек есть не что иное, как осуществление самого себя. И существует лишь настолько, насколько сам себя осуществляет! Разве это не согласуется с марксизмом?

Аудитория наша словно подавилась. Мухи бились в окне — ведь стояла еще осень, и их жужжание под-

черкивало тишину. Чего мы ждали? Ведь мы набились тут для зрелища, для того, чтобы воочию увидеть чей-то срам, — как хоть он выглядит-то? Тайно ждали провала — но какой такой провал, разве забубенная лекция может оказаться провалом? У профессора есть текст, с который легко ознакомиться, и всякий спец по политическим наукам подтвердит его праведность. Исполнение? Но здесь не эстрада, а студенческая аудитория.

И тут занудный грешник, будто учуяв витающие под потолком недоумения, словно перевернулся.

— Сартр, милая девушка, — проговорил членкор неожиданно подобревшим голосом, — утверждает также, что человек ответственен не только за себя, он отвечает за всех людей.

Наконец-то он поглядел на нас с интересом. Даже крякнул.

— Но это, — сказал он Музе, — уже глубины философской теории. Если интересно, заходите ко мне в редакцию, поговорим. Но только организованно, через кафедру.

Вот те и на! Мы пришли на спектакль, да он и произошел, но в конце услышались человеческие слова. А это всегда сбивает с толку. Когда народ стал вслед за лектором выходить из аудитории, Муза улыбалась и повторяла:

— А что? Я пойду. Значит, он не такой ретроград, раз про Сартра знает!

— Теперь всем ясно, кто ты такая, — заметил Музе Минибай. — Экзистенциалистка! А не просто...

— Конечно, не просто! — смеялась она. — Марксистка-экзистенциалистка.

И Музка действительно оказалась хозяйкой своей судьбы. Как потом узналось, в какой-то миг, не афишируя этого, она заявила к грешному марксисту — он же главный редактор, — ее приняли, и постепенно она заняла свое твердое и надежное место в жизни: стала штатным корректором, о котором не забыли. И со временем перевели в газетный штаб — заместительницей ответственного секретаря.

Продолжение следует.

